

ЧИТАЮ в «Знамени» воспоминания К. Симонова. Вижу, как, рассказывая о Сталине, он фактически рассказывает о себе, точнее о том, как выдвигал из своей души рабское и восторженное поклонение Сталину. Автор воспоминаний «Глазами человека моего поколения» сразу сообщает, что «главная тема этой рукописи» — «...место и роль Сталина в нашей жизни и прежде всего в жизни моего поколения». А затем он существенно дополняет свою мысль: тема Сталина «почти неотделима от темы, порой еще более внутренне трудной: «Ты сам своими собственными глазами много лет спустя». И трудность решения этой задачи разъясняется — нужно поведать читателю о долгой и серьезной эволюции своего характера, своего мировоззрения. Насколько это сложно, становится очевидным по замыслу Симонова — в будущем произведении изобразить «сразу четыре моих «я»: нынешний «я» и еще трое. Тот, каким я был в пятьдесят шестом году, тот, которым я был в сорок шестом году, вскоре после войны, и тот, которым я был до войны, в то время, когда я только-только успел узнать, что началась гражданская война в Испании, — в тридцать шестом году».

Романа или пьесы с таким сюжетом Симонов не написал, точнее — не успел написать. Но первую часть своих размыш-

любящим Симонова и преданным его памяти, ворошить те страницы его биографии, о которых ему самому говорить не хотелось? Воспользуюсь поводом, чтобы подтвердить: и люблю Симонова, и предан его памяти, но именно поэтому считаю необходимым ничего не скрывать.

Эпизод с «делом врачей» наиболее наглядно показывает, в какую трясицу завел Симонова слепое поклонение идола.

История учит, что ради веры в богов совершались самые жестокие преступления. И это особенно верно в отношении Сталина, который сам не знал меры в кровавых методах своего утверждения. Сейчас, именно во второй половине восьмидесятых годов, начался процесс массового прозрения, возвышения людей к истине и низвержения былого кумира. Этот процесс идет трудно, болезненно, вызывая у многих и отчаяние, и истерическое озлобление, и прямую ненависть к людям, утверждающим правду. Книга Симонова имеет громадное значение именно потому, что раскрывает этот типичный процесс, раскрывает душевную драму миллионов людей. Книга Симонова и призвана помочь этим миллионам преодолеть сталинизм, и поэтому все о судьбе Симонова надо договаривать до конца, не скрывая и того, что сталинизм завел прекрасного, большого поэта в болото самой отвратительной, по его собственным сло-

об этих разочаровывающих обстоятельствах пишет так: «При нем посадили, а потом выпустили моего отчима, при нем отравились в ссылке моя тетка и мои двоюродные сестра и брат, при нем где-то в ссылке погибли две другие тетки мои, любимая и нелюбимая, при нем посадили и, несмотря на мои письма, не выпустили и не послали на фронт моего первого руководителя творческого семинара, человека, которого я очень любил...». В моей жизни были несколько другие, но аналогичные факты. Однако вера в Сталина рухнула только после моего собственного ареста, да и то не в один день. А Симонов после всего пережитого и выстраданного написал широко известные строки: «Товарищ Сталин, слышишь ли ты нас? Ты должен слышать нас, мы это знаем». Да и знаменитой «Речи моего друга Самеда Вургуня на обеде в Лондоне» придумал концовку, напоминающую чуть ли не финал поэмы «Двенадцать»:

Стоит мой друг над стаей волчьей,
Союзом братских рук храним.
Не слыша, как сам Сталин молча
Во время речи встал за ним.

Теперь Симонов признается: «Я и сегодня не стыжусь этих стихов, не раскаиваюсь в том, что написал их... они абсолютно искренне выражали мои тогдашние чувства». От себя добавил — они выражали чувства миллионов людей. Здесь

Но, пожалуй, еще разительнее, еще вероятнее звучат стихи Ольги Берггольц:

Обливается сердце кровью...
Наш родимый, наш дорогой!
Обхватив твои излобы,
Плачет Родина над тобой.

И это пишет та самая Ольга Федоровна Берггольц, у которой в тюрьме погиб муж, которую, несмотря на беременность, так избивали на допросах, что выбили под конец только чуть-чуть затеплившуюся жизнь.

Что же сказать об этих стихах! Чем они продиктованы — ложью или искренностью, лицемерием или подлинной верой в Сталина? Сегодняшним людям, «вам, из другого поколения», скорее всего это странно и непонятно, но свидетельствую — искренностью и верой. Другой жизни — не под руководством Сталина, без веры в него — мы тогда себе не представляли, и не было в этом ни двойственности, ни лицемерия. Эти отвратительные свойства пришли потом.

Правда, допускаю, что Симонов как человек несоизмеримо более талантливый, чем я и чем большинство людей нашего поколения, отличался повышенной социальной чуткостью и слышал такие подземные, подспудные толчки будущей сталинщины, которые я, как и большинство, не слышал. Поэтому Симонов, возможно, и был в то время фанатиком в меньшей ме-

Лев ФИНК



ПРОЗРЕНИЕ

О воспоминаниях
Константина Симонова

Константин Симонов. «Глазами человека моего поколения (Размышления о И. В. Сталине)». Журнал «Знамя», №№ 3-5, 1988.

лений о Сталине он продиктовал, и слова о четырех «я» можно воспринять как ключ к этим размышлениям. Их суть заключается в коренной переоценке Сталина, в решительном переходе от безграничного, бездумного обожествления к такому же бескомпромиссному осуждению: Сразу скажу — бесполезно искать у Симонова те оценки Сталина, которые звучат сегодня и чаще всего выражаются полусинонимами «деспот», «тиран», «преступник», «злодей». Симонов конечное осуждение Сталина отнесет в будущее: «Мое сегодняшнее отношение к Сталину складывалось постепенно, четверть века. Оно почти сложилось — почти, потому что окончательно оно сложится, наверное, лишь в результате этой работы, первую часть которой я заканчиваю».

Это уже почти сложившееся отношение наиболее определенно прозвучит, когда Симонов вспомнит правду о пресловутом «деле врачей».

«Было очень страшно прочесть те документы, свидетельствующие о начинавшемся распаде личности, о жестокости, о полубезумной подозрительности, те документы, которые на неделю сунул нам под нос пресеченный кем-то потом Берия. То, что было связано с разоблачением Берии, с обнаружившейся вокруг этого политической и нравственной блевотиной, несмотря на попытки разных людей вывести из-под удара Сталина, все-таки ложилось и на него».

Рискую высказать предположение о причинах невероятной резкости этих строчек. Ни всем своим бесстрашием к самокритике, при многократных и откровенных признаниях, что он стыдится некоторых страниц своей жизни, на этот раз Симонов не сумел договорить до конца. Ведь именно он как редактор «Литературной газеты» был причастен к злосчастной публикации об «убийцах» в белых халатах, и я могу предостеречь себя, что переживал Симонов, всегда честный, всегда искренний поэт Симонов, узнав, что газета напечатала чудовищную клевету, заклеившую ни в чем не повинных людей. При чтении подлинных документов следствия ему, видимо, было так стыдно, что написать об этом и через двадцать шесть лет не хватило сил.

Возможно, найдутся охотники упрекнуть меня за эти строки. Так и слышу укороженный вопрос друзей Симонова — зачем же вам, человеку, которого считали

вам, «блевотины». Чем яснее это станет читателям-сталинистам, тем энергичнее книга Симонова поможет им избавиться от ослепления. Вспомним воистину великие строки:

Мы, пройдя через кровь и страдания,
Снова и прошлому
взглядом приблизимся,
Но на этом далеком свидании
До былой слепоты не унизимся.

Во имя этой цели я и разрешаю себе досказывать то, что не сказал сам Симонов, больше того — разрешаю себе оспорить одно важнейшее его утверждение.

Симонов вспоминает передовую «Литературной газеты» («Священный долг писателя»), опубликованную сразу после смерти Сталина. Цитирует наиболее эпатажирующий абзац этой статьи: «Самая важная, самая высокая задача, со всею настоятельностью поставленная перед советской литературой, заключается в том, чтобы во всем величии и во всей полноте запечатлеть для своих современников и для грядущих поколений образ величайшего гения всех времен и народов — бессмертного Сталина». При этом он откровенно комментирует свое чересчур уж эмоциональное утверждение: «Никто ровным счетом не заставлял меня это писать, я мог написать все это и по-другому, но написал именно так, и пассаж этот принаделжал не чьему-либо иному, а именно моему перу».

Не удивительно, что долгое время (вплоть до появления романа «Живые и мертвые») Н. С. Хрущев считал Симонова «одним из наиболее заядлых сталинистов в литературе». Спрашивается: а как иначе можно было оценивать писателя, который уже после смерти Сталина все еще продолжает называть его «величайшим гением всех времен и народов»?

Однако Симонов с оценкой Хрущева не соглашается: «Я не был заядлым сталинистом ни в пятьдесят третьем, ни в пятьдесят четвертом году, ни при жизни Сталина». И вот здесь-то, по моему убеждению, Симонов не прав. У книги точное и емкое название: «Глазами человека моего поколения», и я, как представитель этого же поколения, должен прямо сказать: заядлыми сталинистами было абсолютное большинство из нас. У каждого как будто существовали свои поводы испытать сомнения и разочарования, разувериться в справедливости созданных Сталиным жесточайших порядков. Симонов, например,

парадокс лирики полностью срабатывали: интимные переживания поэта выражали общие, даже всеобщие настроения.

Симонов пишет: «...Первые корни двойственного отношения к Сталину — там, в тридцатых годах. Осознанные, неосознанные, полусознанные, но все-таки где-то в душе прозревшие». Не берусь отрицать «неосознанность» или «полусознанность», но вот определение «осознанные» — явная модернизация.

Вспоминаю разговор с Симоновым в декабре 1937 года. Мы только что узнали, что в Куйбышеве арестован мой друг, талантливый поэт Виктор Баргов. Я был убежден, что никакой антисоветчиной он не занимался, однако успокаивал себя скверной мыслишкой: «Но ведь тебя-то не арестовали». И Симонов поддерживал это соображение. Теперь он пишет: «Это время... если быть честным, нельзя пропустить не только Сталину, но и никому, в том числе и самому себе... Для тебя, двадцатидвухлетнего-двадцатитрехлетнего человека, в тридцать седьмом — тридцать восьмом годах то, что происходило, и то, что кажется сейчас неимоверным и чудовищным, постепенно как бы входило в некую норму, становилось почти привычным. Ты жил среди всего этого, как глухой, словно ты не слышал, что вокруг все время стреляют, убивают, вокруг исчезают люди». Да, было именно так. Мы жили как слепые и глухие, потому что твердо верили, что все решения Сталина мудры и справедливы. В этой вере были такая истовость и такая энергия, что мы все оправдывали и принимали. Как же это называть, если не завязанным сталинизмом?

Очень убедительное подтверждение и выражение этой былой, фантастической слепоты — стихи-отклики на смерть Сталина, которые Симонов цитирует. Поэты разные, а слова, интонации, настроения почти полностью совпадают. Сравните хотя бы строки А. Твардовского (будущего автора поэмы «По праву памяти»):

В этот час величайшей печали
Я тех слов не найду...

— со строками Симонова:

Нет слов таких, чтоб ими передать
Всю нестерпимость боли и печали.

Так разве не «завязанным сталинизмом» диктовал это сходство?

ре. Но был. И его исцеление от сталинизма, о котором он рассказывает, — процесс поучительный. Сам Симонов предполагает разглядеть четыре этапа своей эволюции.

Первый из них условно обозначается как «человек тридцать шестого года». У Симонова говорится об этом периоде веско и лаконично: «Я вырос и воспитался при Сталине». Для каждого из нашего поколения в одной этой фразе скрывается огромный смысл. Воспитался при Сталине — значит в слепой и абсолютной вере в его величие, мудрость, справедливость, историческую правоту. «Образ величайшего гения всех времен и народов» сложился именно тогда — в середине 30-х. Тогда никому в голову не приходило ныне зацитированные ленинские слова о том, что «лучшие элементы, которые есть в нашем социальном строе... ни слова не возьмут на веру, ни слова не скажут против совести...» (ПСС, т. 45, с. 391).

Наоборот, убежденность партийца непременно предполагала полное отсутствие сомнений, личную преданность Сталину, абсолютную готовность во всем, большом и малом, следовать его указаниям.

Я уже оспорил предположение Симонова, что там, в 30-х, — первые корни двойственного отношения к Сталину. И снова повторяю, что у меня, у моих товарищей по институту и комсомолу не было и зародышей такой двойственности. Даже когда арестовали отца, штабс-капитана царской армии, военного хирурга, а затем доцента Самарского университета. Арестовали — но ведь вскоре освободили, и он вернулся в свою клинику. Даже когда под Первое мая 1936 года был сделан обыск в моей комнате и у меня изъяли какие-то невинные студенческие записи. Ну что ж — классовая борьба обостряется, а записи потом все же вернули, разобрались, выяснили. Если уж искать в 30-х какие-то корни, так только того оголтелого непробиваемого сталинизма, который исключал всякие сомнения и отличался такой неколебимой стойкостью, что дошел до наших дней в виде выступления Нины Андреевой... А ее предшественник, человек 36-го, несмотря на всякие оговорки, шагнул к нам со страниц книги Симонова: «Мне не приходило в голову, что кого-то из нас могут сговаривать писать про то, о чем мы говорим друг другу... Не приходило в голову — да и все». И каждый раз, как заходит речь о чем-то неприятном, дурном, сомнительном, Си-